

ВАСИЛИЙ АВЕНАРИУС

ЧТО
КОМНАТА
ГОВОРИТ

Василий Петрович Авенариус

Что комната говорит

Аннотация

«Еще ночь: кругом в детской почти ничего не видать. Но Ване не спится. То на один бок повернется, то на другой, то кренделем свернется, то опять ножки от себя врозь оттолкнет. Уф, как жарко! Верно, няня вчера слишком много дров в печку положила... Он сорвал с груди одеяло и руки на подушку за голову закинул...»

Содержание

I	4
II	5
III	8
IV	10
V	14
VI	18

Василий Авенариус

Что комната говорит

I

Еще ночь: кругом в детской почти ничего не видеть. Но Ване не спится. То на один бок повернется, то на другой, то кренделем свернется, то опять ножки от себя врозь оттолкнет. Уф, как жарко! Верно, няня вчера слишком много дров в печку положила... Он сорвал с груди одеяло и руки на подушку за голову закинул.

А все не спится! В голове точно мельница стучит, думается без конца о том, о другом. Что же это с ним? – А вот что. Ваня – мальчик вострый; все-то ему нужно знать, всех выпрашивает. и отца, и мать, и няню, и старшую сестрицу свою: «Почему это так, а не этак? Из чего это сделано, да откуда берется?» И накопилось у него теперь в голове всякой всячины столько, что места уже нет, вон выпирает, спать не дает.

Вдруг Ваня весь так и всполохнулся. Что это такое? Точно кругом какой-то шорох и стук, какие-то странные деревянные голоса... Сердце в груди у него сильно забилося. Дохнуть не смея, стал он из-за края подсматривать, подслушивать.

II

Вот так диво! Ведь это стулья, просто-таки стулья разговорились меж собой! Ножками топчат, спинками шевелят да так и тараторят...

– Позвольте, господа! Всем зараз нельзя, – перекричал тут других один стул. – Все мы один как другой: спорить, кажется, не о чем. Дайте мне, господа, за всех сказать то, что у каждого на душе!

– Говори, говори! Пусть говорит! – зашумели все стулья разом.

– Мы первую нашу молодость вспоминали, – начал стул. – Ах, да! Славное было то время, когда мы еще березками в лесу стояли. Солнце нас грело, дождик поил, птички в верхушках наших гнезда вили и песни пели. Приходили к нам погулять деревенские девушки и ребяташки за брусничкой, за грибами; ходят да вдруг остановятся и всею грудью вздохнут: «Какой от берез-то этих дух чудесный!» Помните, господа, а?

– Еще бы не помнить! Как не помнить! – отвечали опять все стулья.

– Да вот же, как выросли побольше, надоело нам на одном месте стоять, ветками шевелить; захотелось куда-нибудь подальше, свет поглядеть. Точно дома не лучше, чем где на свете. И дождались! Пришли крестьяне с топорами, всех нас

под корень подрубили – то-то больно было! Сучья на дрова изрубили, а толстые стволы в город к столяру отвезли. Стал нас столяр пилой пилить, топором тесать, стругом стругать; стал точить да сверлить на токарном станке, куски прилаживать да клеем склеивать, пока не смастерил стулья. Вделал потом еще каждому в середку плетенку из камыша, навел нас краской и лаком – наконец-то совсем поспели! Чистенькие, гладенькие, ножка в ножку, спинка в спинку, хвататы, что солдаты; будто такими и на свет уродились. А ведь чего-чего не натерпелись! Были тоже в школе, да в какой! Зато же мы и в чести у людей: устанут – сейчас к нам, присядут, развалятся. Ура!

– Ура! – подхватили все стулья.

– Нельзя ли потише, господа? – сказал тут стоявший между стульями стол. – В чем честь-то? Что задом к вам повернутся да прямо на лицо сядут? Если кому хвалиться, так уж мне! Ко мне они садятся всегда лицом, ставят на меня все, что жаль на пол положить. А отчего? – Оттого, что я не из простой березы, как вы, а из цельного ореха; оттого, что лицо мое гладко и светло, как зеркало: столяр меня не просто лакировал, как вас, а пемзой и политурой оттирал, полировал. И людей-то жизнь редко когда так полирует. Мы тут двое только родные братья: я да вон шкаф платяной, – тоже из цельного ореха да весь полирован.

– Ну да! – усмехнулся тот же стул. – А зачем же он спиной к стене прижался, шкаф твой? Будто мы не знаем, что спина

у него не только не полирована, но даже не ореховая, а сосновая, из самой простой сосны.

Высокий, пузатый старик-шкаф до сих пор молчал. Теперь и он не стерпел насмешки забияки-стула.

– Не тебе бы, молокососу, говорить, не мне бы, старику, слушать, – проворчал он. – Разве сосна не такое же дерево, как орех или береза? Только попроще маленько. Кто же спину мою видит? Ну, вот она, по-домашнему, и одета проще. Да и важно не то, как кто одет, а что он сам есть, как держит себя. Я же самый верный друг дома: что в меня положат, то и сохраню, – ни пыли не дам тронуть, ни моли съесть, ни вору украсть.

III

На пол звякнуло что-то, и зазвучал тонкий и звонкий голосок. Это кто же? – Ваня тихонько приподнял голову, чтобы лучше разглядеть. Эге! Это ключик, которым запирают шкаф, выскочил теперь из замка.

– Как вы, деревянный народ, разважничались, – сказал ключ. – И ты, дружище шкаф, туда же! Хотя мы с тобой и давно дружны, но дружба дружбой, а служба службой. Без меня, без ключа, согласишься, и ты бы мало значил: и пыль, и моль, и вор бы забрались. Я мал да удал – и не из дерева вырезан, а из железа выкован. Дерево-то и хрупко, и ломко, и горит, и гниет, а железо и тягуче, и гибко, и прочно. Нас, братьев-металлов, много – не перечесть. Золото да серебро из всех нас знатнее, но железо всего нужнее, везде пригодится.

– И мы ведь железные, и мы тоже! – крикнули сверху вбитые в стену гвозди.

– И вы, братцы, – сказал ключ. – Неказисты вы, правда: один стержень да головка. А сколько ведь на шею вам навесишь! Но почтеннее всех нас все-таки матушка-кровать: она от трудов и забот покоит. Эй, матушка! Не рассажете ли про наше железное житье-бытье?

Ваня с испугу чуть не свалился с кровати: кровать под ним вдруг заходила и внятно заскрипела:

– Ох, детки мои! – скрипела кровать. – Род наш желез-

ный не от мира сего. Родина наша не здесь, над землею, а глубоко в земле, в горах. Лежали мы там долго – сотни, тысячи лет, лежали безобразной каменной грудой, рудой, и была вокруг нас вечная ночь, вечная тишь. Редко-редко когда пробьется к нам сверху дождевая вода, прожурчит что-то – не разберешь даже что, – да и вон поскорей. Но люди добрались, докопались до нас! Растволкали руду, потом засыпали в большую доменную печь вперемешку с углем: руды да угля, опять руды и опять угля. А снизу-то огня подложили, да давай мехами поддувать. Не в огонь мы попали – в полымя! Расплавилась руда, как сахар на свечке, стекла вниз, в яму. А там сбоку дыра. Раскрыли дыру, выпустили железную грязную рулу, шлак, а на дне-то что осталось? Остался чистый тяжелый металл – железо. С виду и человек иной грязен и непригляден, а внутри у него все же есть чистый металл – доброе сердце. Ну, раз мы железом стали, из нас можно было выковать что угодно. Выковали и кровать, и ключ, и гвозди: выковали сотню разных полезных вещей. И если люди теперь хотят похвалить кого из своих за его крепкое здоровье, за его твердый нрав, то говорит: «О, это железная натура! Это железный человек!»

IV

А теперь-то кто из угла отвечает кровати? И пыхтит, и сопит... Печка, да, старуха-печка!

– А меня-то, сударыня, что же забыли? – говорила она. – Хоть и не родная вам тетка, а все, чай, двоюродная. Снаружи-то тоже совсем железная, а внутри только из кирпичей сложена; но кирпич-то, правду сказать, разве не земляной же природы, как и вы? Из песку да глины смешаны да спечены, как пироги из теста. Да и как зарумянились-то! Совсем докрасна. Теперь их ничем не проймешь: глотаю же я вот каждый день сколько огня, всю кирпичную внутренность, кажись, должно бы прожечь, а ничего-таки и знать не знаю. Только согреешься изрядно да дымом в трубу отдуваешься. А люди-то меня как любят: чуть с холода – все ко мне да ко мне, погреться около меня! Без тепла моего им и жизнь бы не в жизнь.

– Тепло теплом, – сказала стоявшая у печки на табуретке умывальная чашка, – но для здоровья им нужно и тело свое в чистоте держать. А эту деликатную службу мы вот с братцем-кувшином справляем. Сами ведь деликатной породы: хоть тоже из глины, да из тончайшей – фаянсовой.

– А знаешь ли еще, сестрица, как мы с тобой на свет родились? – спросил кувшин.

– Еще бы не знать! – отвечала чашка. – Как теперь помню:

было то в мастерской на фаянсовом заводе. Лежала я еще комком глины. Вдруг мастер хватить меня, шлепнул на круглый столик, завертел его ногою, а руками давай мять да тискать. Верчусь, верчусь, совсем закружилась: чую только, как середка у меня вдавилась, края изогнулись. А он уж кончил, поставил меня на скамейку. Оглядела я себя, – сама себя не узнала: вместо безобразной глиняной глыбы я стала красивой умывальной чашкой! Смотрю: мастер опять завертел свой столик, мнет и давит комок глины. «Что-то теперь выйдет, – думаю, – что-то выйдет?» И что же вышло?

– Я вышел! – подхватил кувшин.

– А то кто же? Как увидала тебя, признаться, так обрадовалась... Точно сердце мне сказала, что ты мне брат родной. Как только мастер, обернувшись, нечаянно толкнул скамейку – я прыг к тебе навстречу.

– И не допрыгнула! – засмеялся кувшин. – Он тебя на лету и поймал, а то бы ты больно расшиблась.

– Смейся, смейся! – сказала чашка. – Сам-то ведь тоже с радости чуть не выскользнул у мастера из рук, да он тебя за ручку удержал: «Куда! Куда! Людей посмотреть и себя показать? Да на вас, милые мои, и глазури-то нет, а без глазури кто же вас к себе примет?» Сунул обоих в каленую печь и солью посыпал. От жары мы насквозь прокалились, а соль нас кругом глазурью залила. Тогда он вынул нас из печи: «Ну, теперь гуляйте вместе по белу свету хоть до скончания века. Только, чур, не ссорьтесь, не отбейте друг дружке глазури.

Глазурь – первое дело».

– А мы вот со стаканом насквозь из глазури, насквозь из стекла, – подал теперь голос со стола графин с водой. – Вы моете людей снаружи, а мы изнутри; затем-то мы так и прозрачны: пусть всякий тут же видит, что пьет.

– Так, стало быть, вы просто из соли? – сказал кувшин.

Графин звонко расхохотался:

– Эх, батенька, куда хватил! И ваша-то глазурь разве просто из соли? Для глазури, милый мой, две вещи вместе в огне сплавить надо: какой-нибудь землицы да какой-нибудь соли. Ваша землица – глина, ваша соль – обыкновенная поваренная, вместе и оглазурились. Наша землица – кремнистый песок, наша соль – промытая зола, поташ, в огне они живо в прозрачную жижу сплывались – в жидкое стекло. Видал ты, я думаю, как хозяйский сынок наш, Ваня, соломинкой мыльные пузыри пускает?

– Кто в жизни мыльных пузырей не видал! – сказал кувшин.

– Ну вот. Точно так же и наш мастер на стеклянном заводе: возьмет длинную железную трубку, обмакнет в стеклянную жижу и ну дуть с другого конца. Дует, дует, а стеклянная капля на кончике раздувается все больше, настоящим пузырем. Пренеприятное чувство, когда тебя так раздувают, скажу прямо! А он, дуя, еще вертит тебя вокруг головы, и тянешься ты поневоле, тянешься, как быть надо графину. Тогда поставит тебя на горячую каменную плитку, горячую –

чтобы тебе не простудиться и не лопнуть, и чикнет ножом по горлышку, чтобы ты от трубки отстал. Уф! Точно петлю с шеи сняли. Потом железным прутиком еще каплю стеклянной жижи возьмет и губы тебе наведет, наконец, для красоты уже, обведет тебе вокруг плеч и шен стеклянное же ожерелье...

– А я-то... – зазвенел тут рядом с графином стакан.

– Что ты? – строго перебил его графин. – Ты, братец, только полграфина или даже полбутылки: разрезали бутылку пополам – и все тут. Так вот как, милостивые государи! Мы, народ стеклянный, хоть и слабы, хрупки, стукнешь нас неосторожно или (чего Боже упаси!) уронишь – в куски, вдребезги разобьемся, зато же и чувствительны, отзывчивы: только пальцем щелкни – голос подадим, зазвеним!

V

Справа, слева, сверху, снизу – отовсюду вдруг зашелестело, точно в лесу тысячи листьев разом зашевелились, и на Ваню как бы ветром пахнуло. Вот тебе на! Это ведь обои на стенах проснулись, заколыхались, заговорили.

– Всякий из вас пожил, господа, правда, – шелестели обои. – Но все же, сколько бы вас тут ни было – будь вы из дерева или из железа, из глины или из стекла, – все вы живете вашу первую жизнь и второй жизни вам нет и не видать.

– А вы-то что же, вторую жизнь живете? – прозвенел графин.

– А то как же? – отвечали обои. – Наша первая жизнь была тряпичная, наша вторая – бумажная. Сколько лет нас люди платьями, бельем носили, пока мы на них в лохмотья, в отрепья не изорвались! Тут бы, кажется, нам и конец? Ан нет! Тут выручили нас наши новые крестные – тряпичники: «Буты-лок, банок! Костей, тря-пок!» Сгребали тряпье и из домов, и из сорных ям, а понабравши целый воз – марш на бумажную фабрику.

– Славная компания! – сказал брезгливо графин. – Да на один воз вашей грязной братии двух возов мыла не достало бы!

– Да-с, вашим комнатным мыльцем с сальным тряпьем немного подделаешь, – сказали обои. – Нас, сударь мой, в трех

кипятках да в трех щелоках проварили, нас трепалкой в мелкую кашу истрепали, изодрали, – хоть «караул!» кричи. Зато же уж и насквозь пробрало. А рядом, в другом чане, тут же, свежей водой окатили, – так всю грязь как рукой сняло! Ста- ла каша чистая, аппетитная – хоть сейчас кушай! Только чи- стоте нашей люди и тут не поверили: чтобы от прежней дря- ни в нас и духу не осталось, хорошенько еще нас продушили.

– Одеколоном, верно? – сказал графин.

– Как бы не так! Хлорною водой, сударь мой. Пахнет она, правда, вовсе не духами – расчихаешься, раскашляешься; за- то очистит, убелит как снег.

– А дальше что же было?

– Дальше – пустяки, прогулка одна. Поумывшись, убелив- шись, вытекли мы кашицею из крана на проволочную сет- ку. А сетка на колесах, идет себе вперед да вперед, да тря- сется еще при этом с боку на бок. Вода-то из кашицы и сбе- гает сквозь сетку, а там остается одна густая бумажная мас- са. Навстречу тут два валика. Проходит масса меж валиков и выходит из-под них уже не массою – настоящею плотною бумагой. Только сыровата еще она. И идет она все дальше, идет по мягкому войлоку. Опять навстречу ей два валика, не холодных уже, а нагретых. Продируется она опять меж них и вылезает оттуда уже совсем сухою. Скоро сказка сказыва- ется, да скорее дело делается: только что жидкою кашицею были, глядь – и бумагою стали.

– Да ведь вы, обои, не простая же бумага, – сказал гра-

фин, – а все в узорах? Грунт – серый, а по нему все цветочки да цветочки, листики да листики.

– А это уже нас на обойной фабрике разрисовали, – отвечали обои. – Сперва навели кистью серую краску для грунта, потом взяли деревянную форму с вырезанными цветочками, обмакнули в малиновую краску, подавили на бумагу – вышли цветочки; взяли другую форму с вырезанными листочками, обмакнули в зеленую краску, опять надавили – вышли листики. Узор хоть и простенький, а миленький. Не правдали? Никому тут на глаза не лезем, а в комнате от нас все же веселее и уютнее. Пользу приносим, а сами ни гу-гу.

– Полчаса слышим, как-вы ни гу-гу, – раздался тут с нижней полки насмешливый голос, и Ваня сейчас догадался, что это говорит его любимая книжка, в которой такие хорошенькие истории – смешные до слез и грустные до слез. – Мы, книжки, тут все тоже из бумаги, тоже с узорами, но с какими!

– Хорошие узоры! – сказали обои, – черные только крючки какие-то, буквы, что ли...

– А из букв-то этих что составляется? Слова! А из слов? Целые рассказы. Послушать – уши развесишь. И мы тоже живем другую жизнь. Но первая жизнь наша, тряпичная, была только для тела: одевали, грели, а теперешняя, бумажная, для души: и ум расшевелим, и сердце развеселим.

– Да где же и кто вас так распечатал?

– Где? В печатне, в типографии. А кто? Наборщики. Набрали оловянных выпуклых букв – литер в слова, смазали

сверху краской и отпечатали на бумагу.

– А кто же рассказы-то выдумал? Они же, наборщики?

– Нет, это не их ума дело: на то есть свои люди – писатели.

Писатель все видит и все слышит, да потом пером и опишет.

И вас всех, господа, сколько вас тут ни есть, опишет; а наборщики наберут вас в слова и отпечатают в книжку; смотрите же, глупостей не говорить.

– Вот еще! И глупостей даже не говорить! – закричали голоса со всех сторон. – Точно мы ничего уже не значим! Точно горя и бед всяких не натерпелись! За что же это, за что?..

И кругом поднялся такой гвалт, такой гам, что хоть уши заткни.

VI

Между тем стало рассветать, и в комнату из-за шторы блеснул первый луч солнца. В клетке над окошком висела Ванина канарейка. Она вдруг встрепенулась и запела, – запела так весело и звонко, что шум в комнате разом затих.

Что же пела она? – А вот что:

– Не шумите! Не тужите! Что было, то сплыло; что сплыло – забыто, слезами вон смыто. Взошло солнце, пригрело и душу, и тело, – наслаждайтесь! Упивайтесь! Сами смело за дело. Хоть бы век понемножку так прожить – и слава Богу!

За занавеской спала Ванина няня, и она от пения канарейки проснулась, выглянула к Ване.

– Э, батюшка! Певунья наша и тебя никак разбудила.

– Ах, няня! Няня! – вскричал мальчик. – Да ты разве не слышишь, что она поет?

– Что поет? Известно, Бог горло дал, ну, и дерет. Да у тебя, голубчик, что глазенки так разгорелись? Не сов ли какой хороший, видел?

– И какой еще, няня! А может быть, и не сон... Вся комната тут говорила!..

– То есть как так комната говорила? Что-то в толк не возьму...

– А вот я тебе расскажу. Послушай.

И стал он рассказывать. Слушала няня да только головой

качала.

И вы, друзья, кажется, головой качаете? Не верите, чтобы комната могла говорить?

Раскройте глаза ваши, раскройте уши, глядите кругом и слушайте хорошенько: не только комната – весь мир вокруг вас внятно заговорит.